



В. А. ПЬЕЦУХ

Горький Горький*

Будучи четырех лет отроду Алексей Максимович Пешков заболел холерой, заразил ею отца, который за ним ходил, и тот скончался в расцвете лет.

Впоследствии дела нашего Буревестника складывались более или менее по этому образцу. Сомнительно, чтобы он считал политику занятием наиважнейшим и, главное, продуктивным в положении литератора, а между тем воевал с царем и делал фронду большевикам. Он всю жизнь опекал юные дарования и ввёл в литературу немало бестолковых людей, которые литературу и начали затирать. Разумеется, у него и в уме не было распространить сталинскую тиранию на область изящной словесности, однако из его сочинений заинтересованные лица слепили социалистический реализм, отрицавший — вплоть до применения мер физического воздействия — все прочие художественные школы, и нечаянно встал во главе Союза писателей, собственно говоря, наркомата литературы. Несомненно, что он был человеком порядочным и самых гуманистических убеждений, но всё-таки это не помешало ему воспевать строительство Беломорканала и сочинять оды ОГПУ.

Почему Алексей Максимович смолоду участвовал в революционном движении, это вполне понятно. В царствование последнего султана Московского и всея Руси, когда разложение государственного организма стало уже медицинским фактом, не было в стране сколько-нибудь радетельно настроенного интеллигента, который сочувствовал бы режиму, и делать ему афронт считалось так же обыкновенно, как выпивать рюмку-другую перед обедом или же знать иностранные языки.

Другой вопрос, отчего Алексей Максимович всё-таки непосредственно боролся с романовской диктатурой, за что неоднократно сиживал

* *Пьецух В.* Русская тема. О нашей жизни и литературе. М., 2002. С. 26–27.

в тюрьмах и высылался то в Ялту, то в Арзамас, тогда как Л. Толстой, Чехов, Бунин, Куприн отнюдь не входили ни в какие революционные организации и работали на светлое будущее исключительно средствами художественной литературы. Вот это, действительно, интригует, потому что всякий писатель по своим политическим убеждениям — социалист-революционер, то есть существо понимающее, коль не умом, так кожей, что люди со временем, конечно, придут к идеальному обществу, но все упирается не в соотношение базиса и надстройки, а именно в человека, который до обидного медленно прогрессирует из поколения в поколение, ибо этот человек способен на дикие выходы в условиях реального социализма и на ангельские дела в условиях самого дремучего самовластья, во всяком случае, до неузнаваемости извратить спасительную идею — это для него ничего не стоит.

Оттого-то всякий глубокий писатель озабочен развитием человеческого в человеке и настороженно относится к революционным теориям, особенно если те круто замешаны на крови. А тут тебе «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», работа в эсдековских подпольных организациях, многие тысячи литературных рублей, пожертвованных на браунинги, путешествия в Америку для сбора средств в пользу социалистической революции и множество прочих деяний чисто политического порядка.

Правда, в скором времени М. Горький расплевался с большевиками, а в 18-м году в газете «Новая жизнь» опубликовал серию статей под общим названием «Несвоевременные мысли», в которых дал жестокую характеристику Владимиру Ильичу: «Ленин “вождь” и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу... Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы...»; русскому народу: «Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и, в то же время, непонятно добродушный, — в конце всего — это талантливый народ»; заодно русскому простонародью черносотенного толка: «...в конце концов, какую бы чепуху ни порол антисемиты, они не любят еврея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их»; и самому Великому Октябрю: «революция — и вся жизнь — превращается в сухую, арифметическую задачу распределения материальных благ, задачу, решение которой требует слепой жестокости, потоков крови...»

Вот такой неожиданный поворот произошел с Буревестником, личным другом Владимира Ильича, правоверным эсдеком-большевиком, который в свое время сочинил следующую инструкцию демонстрантам:

«Пускать в ход револьверы, кинжалы и собственные зубы, лишь бы произвести большой переполох среди полиции... — иначе уличные демонстрации не имеют смысла».

Что же следует из этого поворота? А то из него следует, что, во всяком случае, художнику хорошо было бы держаться в стороне от политических пертурбаций своей эпохи. Потому что нет в природе такого революционного и контрреволюционного учения, которое безусловно отвечало бы извечному, высшему чаянью человека, и ни одно из них никогда не соотносилось с задачами и сутью художественного творчества (а если и соотносилось, то как Менделеев с самогонварением), иначе творец рискует попасть в неловкое положение, в каком оказался М. Горький. Начинал он классическим социал-демократом, затем встал на платформу большевиков, затем занялся богостроительством, затем превратился в либерал-демократа, а кончил сталинистом, от души воспевавшим так называемое социалистическое строительство, ни сном, ни духом не угадав, что на самом деле в «Союзе Советов» (М. Горький почему-то настойчиво называл наше пореволюционное отечество «Союзом Советов», вряд ли имея в виду также и поселковые) идёт строительство той же самой тюрьмы народов, только на новый лад.

Конечно, его политические метания можно было бы и развитием, поисками назвать, кабы не кончил он благодушным сталинистом. Стоять бы ему всю жизнь на какой-нибудь несложной художественной идее, вроде «Человек — это звучит гордо», и вошел бы он в нашу литературу не как горький путаник, а как беспочвенный гуманист.

Впрочем, тут, кажется, не вина Алексея Максимовича, но беда. Ибо он по призванию был беспокойным правдоискателем, нервным идеалистом, Солженицыным своего времени, только что чувствительным и незлым, то есть он сначала был протестант, а потом художник.

Вообще значение писателя М. Горького сильно преувеличено. Он начинал свою литературную деятельность как восторженно-грозный романтик, с баллад в белых стихах и прозе, исполненных подросткового пафоса, замешанных на аллегории, отдающей в XVIII столетие, частенько выходящих на простецкие сентенции, вроде «Рождённый ползать, летать не может», построенных на материале из жизни животных и босяков. Даже его молодые рассказы о странствиях по Руси (мнится, лучшее из всего горьковского наследия) не более чем отлично написанные путевые очерки, так же далекие от прозы, как статьи Чернышевского от классической философии. Если, разумеется, понимать под художественной прозой не способ восхищенного или возмущенного отражения действительности, а средство воспроизведения действительности в преображенно-концентрированном виде, которое сродни приготовлению каши из топора.

Причем преображенно-концентрированная действительность у глубокого писателя всегда соотносится с действительностью, отраженной у ходока, как рай с санаторием, патологоанатом с мясником и, наоборот, бытовое воровство с первоначальным накоплением капитала. Простак, не чуждый поэтического понимания мира, например, напишет, что любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, а у гения получится «зубная боль в сердце».

Правда, впоследствии М. Горький понял, что принцип литературы гораздо мудрей принципа зеркального отражения, и продолжил свой путь уже как сочинитель бытовых романов с классовой подоплекой и нравоучительных пьес, точно специально рассчитанных на школьные хрестоматии, да в том-то все и дело, что, кажется, это понимание не выросло органически вместе с ним, а представляло собой продукт благоприобретенный, почерпнутый из книг, которые Буревестник поглощал в таком неимоверном количестве, что было бы даже странно, если бы он не воспринял некоторые внутренние законы высокой прозы.

То-то он говаривал про себя: «Я — профессиональный читатель, влюбленный в литературу», то-то от его сочинений местами веет какой-то арифметичностью, настолько они очевидно заданы, нацелены на определенный этический результат. То-то результат этот частенько достигается слишком технологично, без блуждания и неожиданных взрывов мысли, характерных для носителей искры Божьей.

Одним словом, сдаётся, что дарование М. Горького во многом книжное, вычитанное, покоренное рассудком и помноженное на исключительную работоспособность, недаром он был твердо уверен в том, что гений — на 90 процентов труд. О наработанности, так сказать, горьковского таланта дополнительно свидетельствует еще то, что он отличался весьма недалеким, по крайней мере, неровным вкусом. Иначе откуда бы взяться его «Весенним мелодиям», где птицы рассуждают о свободе, и чиж поёт товарищам случайно им услышанную «Песню о Буревестнике». Откуда бы взяться всем этим «свинцовым мерзостям», «горячему туману взаимной вражды», «застывшему однообразию речей», «хаосу скользких, жабьих слов», «звонящей меди романтизма», которые одинаково трудно объяснить оголтелой начитанностью и незаконченным начальным образованием.

Но просто объяснить тем, что прилежный ремесленник-эпигон всегда себя выдаст, либо пририсовав девичьи глаза русскому богатырю, либо испортив композицию лишней кепкой, либо определив жанр своего труда как посильные размышления...

Кончил же свой литературный путь Алексей Максимович совсем слабо — очерками газетного свойства, исполненными в стилистике райкомовского звена, где попадаются и «передовые единицы труда-

щихся масс» и «глупость — чаще всего результат классового насилия буржуазии», нуднейшим Климом Самгиным и сценическими откликами на политические процессы. Так, на процесс «Промпартии» Алексей Максимович отозвался пьесой «Сомов и другие», где действуют Троекуров, «учитель пения, вредитель морального порядка», Богомоллов, старый инженер, мелкий взяточник, «готовящий советской молодежи “столыпинские галстуки”», Лидия, жена Сомова, которая потеряла «связь с жизнью», и еще целый ряд механических персонажей.

Тем более удивительна его небывалая популярность, скоропалительная слава всероссийская, европейская, а после и мировая, свалившаяся на Алексея Максимовича бог весть по какой причине. И проходу-то ему не давали в публичных местах, так что он даже покрикивал на поклонников, и впрягались в его экипаж финские почитатели, а Марк Твен говорил ему комплименты, и целыми экипажами ходили глазеть на него моряки, и гения Бунина он затмил, и даже как бы поблэк в сиянии горьковской славы гигант Лев Толстой.

На деле понять это общественное заблуждение не так трудно: во-первых, отечественный читатель вообще частенько обманывался и сотворял себе кумиров из ничего, взять хотя поэта Надсона, по которому одно время сходила с ума Россия; во-вторых, М. Горький подкупил демократически настроенную публику своими босяцкими похождениями, вернее, публика была приятно поражена — вот, дескать, министр Державин писал, камер-юнкер Пушкин писал, граф Толстой писал, а этот из хамов и тоже пишет; в-третьих, стране, уставшей от самовластья, прежде всего приглянулся явно революционный уклон горьковских сочинений, и тут уж русскому читателю было не до художественных достоинств, а так он, наверное, рассуждал: если против царя пишет, то, стало быть, хорошо. О западном читателе речи нет, ибо в начале века он за глаза верил в русскую культуру и в русский рубль.

Странная все-таки это фигура — М. Горький. Всё-то в нём было несомерно: слава — не по таланту, миниатюрная ступня и неслышная, вкрадчивая поступь с носка на каблук — не по значительному росту в 182 сантиметра, васильковые глаза — не по чувашскому лицу, английские сигареты с ментолом и «Линкольн», который ему Сталин подарил, — не по нижегородскому оканью, людоедские лозунги, как то, «Если враг не сдается, то его уничтожают», — не по редкой плаксивости (Алексей Максимович в преклонные лета чуть что, сразу в слезы, с горя ли, с радости, но чаще от умиления). А впрочем, в России над плаксивостью не приходится издеваться, это у нас, должно быть, нормальное свойство психики, потому что радости кот наплакал, а горя невпроворот...

Тем не менее горьковская слава, как говорится, факт, хотя и настояжывающий не в пользу среднестатистического интеллигента начала века, ибо принципиальнейшее сочинение Алексея Максимовича — роман «Мать», который он написал еще будучи молодым, — вроде бы должно было автора совершенно разоблачить. Вот если бы в советское время нашелся остроумный и злой шутник, каковой не поленился бы перестучать роман на машинке, обозначил бы рукопись посторонней фамилией, а хоть бы он и Пешковым подписался, прислал бы рукопись в какую-нибудь редакцию, и попала бы она к прилежному рецензенту, но отчасти потерявшему ориентацию во времени из-за вредной своей профессии, — этот шутник, возможно, получил бы такой ответ:

Уважаемый тов. Пешков!

Ваш роман «Мать» не лишён некоторых достоинств, например, он написан на животрепещущую тему и весьма грамотным языком. Вместе с тем рукописи свойственны значительные недостатки, которые мешают нам принять Ваше произведение к публикации. Самый значительный из них заключается в том, что Ваш роман малохудожественный, что публицистический момент в нём преобладает над эстетическим. И даже Вы частенько сбиваетесь на газету, чему есть масса свидетельств в тексте, но я приведу только один пример: «— Так! — отвечал он твёрдо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, и сажали в тюрьму...» Не знаю, согласитесь ли Вы со мной, но тут налицо стилистика передовицы из какого-нибудь антикоммунистического издания, а никак не отрывок из художественной прозы. Кстати сказать, не совсем понятен какой-то жгучий Ваш интерес к диссидентским заговорам и интригам, к жестокому политиканству неглубоких людей, из тех, что в своё время поставили страну на грань экономической катастрофы, а теперь сеют хаос и втравливают народы в междоусобицу. Вот если бы Вы их раскритиковали в пух и прах, тогда да, а то Вы расписываете эту публику в довольно радужные тона. С другой стороны, не совсем понятно, почему в жизни рабочего человека Вы видите только дикие нравы, беспробудное пьянство, тяжёлый, безрадостный труд и бедность, ведь есть и светлые стороны в жизни простого народа, зачем же настолько стусывать краски?

Однако следует отметить и некоторые частные удаchi Вашего произведения, которые позволяют надеяться, что еще не всё для Вас потеряно, например: Ваш герой Павел Власов только потому ушел в политическую борьбу, что его организм водки не принимал, — вот это находка, вот это жизненно и свежо!

Ну и напоследок кое-какие мелочи из области литературной техники, ремесла. Уж очень в Вас буйствуют соки молодости, и отсюда такие невозможно пышные обороты, как «десятки жирных, квадратных глаз» (это про обыкновенные фабричные окна-то), «фабрика выплёвывала людей из своих каменных недр», «маслянистый воздух машин высосал

из мускулов людей силу» — всё это, извините, нетонко, вымученно, и вообще в таких случаях Пушкин сетовал-де, почему не пишет просто — лошадь... Далее... Довольно никчемными и пустыми у Вас получаются диалоги; хотя диссиденты и злокачественная, неумная публика, всё же сомнительно, чтобы нормальный человек кричал за чаем «Да здравствует рабочая Италия!»

Ну и так далее, в том же духе.

Самое интересное то, что несмотря на забавную нелепость такой рецензии, она бы ушла не так далеко от правды. Ведь действительно «Мать» — вещь прямолинейная, скучная, какая-то заказная, подозрительно похожая на раскрашенную фотографию. И только такие утрюмые человеколюбцы, как профессионалы-большевики, которым чувство прекрасного было в принципе не дано, могли по наивности избрать ее своим литературно-политическим манифестом.

И вот опять у М. Горького получилось не совсем то, к чему он стремился. Сочиняя бедную свою «Мать»; он, видимо, полагал просто-напросто отобразить, каким образом и почему простолюдин уходит в революцию с головой. А вышло целое схоластическое учение, получившее странное название — «социалистический реализм», которым долгое время пытались подавить живую литературу.

Почему «социалистический» — это ясно. Не ясно, почему, собственно, реализм. Если по М. Горькому, таковой заключается в «гордом и радостном пафосе», вытекающем из «фактов социалистического опыта», то мы, принимая в расчет горький опыт так называемого социалистического строительства, неизбежно приходим к мысли, что новое художественное направление было не чем иным, как строго избирательным романтизмом госкапиталистического периода, или, коротко говоря, «госкапиталистическим романтизмом», которому из чисто политических видов полагалось выдавать желаемое за действительное и по мере возможности вытеснять из культуры даже и кротко-демократическую словесность, отображающую жизнь во всей ее полноте.

По сути дела, большевикам вовсе не нужна была художественная литература, а нужно было нечто похожее на нее, отнюдь не капитальное, но радующее глаз, муляж, чучело, заспиртованная роза. Не исключено, что большевики искренно верили в возможность рожденья пролетарского искусства от энтузиазма трудящихся масс и лирической мечты Анатолия Василиевича Луначарского, хотя пролетарское искусство — категория настолько же несуразная, как и пролетарская медицина, но пока то да сё, они соглашались на художественные промыслы, обслуживающие тактические, причем именно тактические, задачи построения сугубо тоталитарного государства.

И вот что особенно интересно: как же так вышло, что к злостному этому делу приложил руку человек мудрый и честный, писатель по-своему одаренный и понимавший надпартийную сущность литературы? И как это он стал посаженным отцом на бракосочетании русской словесности с государственным аппаратом, в результате которого родился Союз писателей СССР, дитя не по годам строгое и смурное? И зачем он лично развенчал Аполлона до положения мальчика на посылках при Иосифе I Всех Времен и Народов, а заодно и при малограмотных членах Политбюро?

Так надо полагать, что Алексей Максимович, равно как и многие миллионы непростых и простых людей, был очарован властью великопетровского образца. Ведь эта власть не только подняла в 17-м году российскую голь на демонтаж 1000-летней цивилизации, в 18-м году прикончила гласность, а в 22-м выслала из страны цвет философии и физически уничтожила последнюю оппозиционную партию, но также сумела вдохновить наш народ на беззаветное строительство справедливейшего по идее общественного устройства, выстояла против нашествия двенадцати языков, возвела в чин хозяина жизни простого работника, миллионы людей научила читать и писать (даром что, в частности, ради марксистского катехизиса и доносов), замесила могучую индустрию, но, может быть, главное, воспламенила людей той ненаглядной верой, что они суть именинники исторического процесса.

Зная же особенность нашего национального характера, изреченную Пушкиным в следующих строках: «Ах, обмануть меня не трудно, // Я сам обманываться рад» — можно предположить, что Алексей Максимович охотно поддался тому очарованию силы, масштаба, новизны, перед которым не устояли многие гении и все двести миллионов наших бабушек и дедушек. Тем более, что в Западной Европе, поди, ему было скучно, а у нас то понос, то золотуха, то пятое, то десятое, то врачи-убийцы, то электрификация всей страны.

И даже до такой степени М. Горький спасовал перед сталинской диктатурой, что чистосердечно воспринял символ кремлевской веры и сам забубенный большевистский вокабуляр. Десяти лет не прошло с той поры, как Алексей Максимович ругательски ругал Ленина за злостные опыты над Россией, а он уже бичевал мягкотелую интеллигенцию и ее «кочку зрения», восхищался темпами сноса Иверской часовни, укорял в мещанстве Канта, Л. Толстого и Достоевского, самым искренним образом изливался, что-де «настроение радости и гордости вызвало у меня открытие Беломоро-Балтийского канала... Не преувеличивая, мы имеем право сказать, что десятки тысяч людей перевоспитаны. Есть чему радоваться, не правда ли?... Люди из ГПУ умеют перестраивать людей».

Затем он всерьез начал пестовать пролетарскую литературу и за уши тащил в нее сочинителей от станка, которых он науськивал на «гордый и радостный пафос», вытекающий из «фактов социалистического опыта», и те впоследствии дали прикурить разным там Нобелевским лауреатам из отщепенцев. При этом еще сердился, что за 20 лет господства соцреализма советская литература так и не создала образ женщины-администратора, однако сам заходил в тупик, когда молодые прозаики, сбитые с толку диковинными эстетическими установками, тащили ему рассказы о том, как старики негра усыновили, или как пожилой рабочий пошел покупать диван, но в нем заговорила пролетарская совесть, и он приобрел для своего завода мешок цемента.

Затем он принялся издавать казенную «Историю заводов и фабрик», затем попытался было распатронить серьезную литературу от Дос Пассоса до Пильный и, наконец, горячо отстаивал право на ненависть к тем несчастным, кого Сталин подставил в качестве вредителей и убийц.

Откровенно говоря, претензии эти собраны с бору по сосенке и М. Горькому не в укор. Все мы, грешные русские люди, подвержены очарованию сильной властью, и разве Пушкин не восторгался Николаем I Палкиным, разве Белинский не написал «Бородинскую годовщину», а Герцен не умилялся реформам Александра II Освободителя? И разве сами мы, внуки и правнуки Великого Октября, попадись нам на глаза портрет усатого дядьки с лучистым взглядом, не думаем про себя, дескать, конечно, зверь был Иосиф Виссарионович, но родной? Как говорил великий Френсис Бэкон, севший в тюрьму за взятки, — это не мое преступление, а преступление моего века.

В сущности, М. Горький не был ни хитрецом, ни злодеем, ни ментором, впадшим в детство, а был он нормальный русский идеалист, склонный додумывать жизнь в радостном направлении, начиная с того момента, где она принимает нежелательные черты. Вот как бывают горькие пьяницы, нарочно затуманивающие око своей души, так и М. Горький был горьким художником, бурным общественным деятелем, беззаветно преданным отечественной культуре, заманчивым собеседником, верным товарищем, милым, добродушным, взбалмошным мужиком, то есть он был хороший человек, да только литературе-то от этого ни холодно и ни жарко.

